

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. На краю моря



Северному полюсу было послано несколько кораблей отыскать крайнюю точку земли, на которую может ступить нога человеческая. Уже больше года плыли корабли среди туманов и льдов, преодолевая страшные затруднения. Но вот наступила зима, солнце скрылось, и настала долгая-долгая полярная ночь. Все видимое пространство сплошь покрылось льдом, и корабли были словно закованы во льдах. Вся земля была занесена снегом; из него-то и понаделали себе моряки невысоких ульеобразных жилищ. Некоторые из них были большие, величиной с наши древние могильные курганы, другие поменьше, так что вмещали не больше двух – четырех человек. Стояла ночь, но довольно светлая. Северное сияние разбрасывало целые снопы красных и голубых искр. Вечный величественный фейерверк! Снег так и сверкал, и ночь походила, скорее, на вспыхивающий рассвет. Когда северное сияние горело особенно ярко, к морякам являлись туземцы в диковинных одеждах из тюленьих и оленьих шкур, вывороченных мехом наружу; приезжали они на салазках, сбитых из льдин, и привозили груды мехов. Моряки делали себе из них одеяла и постели и, зарывшись в них, отлично спали под своими снежными кровлями, не чувствуя холода. А на воле в это время трещал такой мороз, о котором мы здесь и понятия не имеем, даже в самые суровые зимы. У нас в то время стояла еще осень, и моряки вспоминали среди полярной природы теплое родное

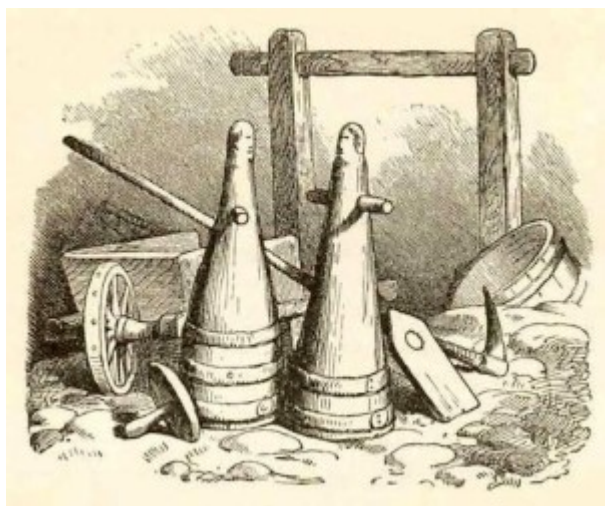
солнышко и ярко-желтую осеннюю листву.

Часы показывали поздний час вечера, время было ложиться спать. В одном из снежных жилищ двое матросов и улеглись уже. Младший из них привез с собою из родного дома лучшее его сокровище – Библию, которую подарила ему на прощанье бабушка, и ночью книга всегда лежала у юноши в изголовье. С детства знал он каждое слово в ней, каждый день прочитывал из нее страницу-другую и не раз, лежа, как теперь, в постели, вспоминал утешительные слова Священного писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Утешенный и подкрепленный верою, он закрыл глаза, заснул и увидел сон – откровение Божие. Тело покоилось, душа же бодрствовала и жила усиленную жизнью. Ему чудилось, что вокруг него раздаются звуки знакомых, любимых песен, чувствовал над собою какое-то теплое, мягкое веяние, видел вверху какой-то белый свет, словно струившийся сквозь крышу. Он поднял голову – белое сияние исходило не из стен или потолка, но лилось от больших крыл ангела. Матрос взглянул на его кроткий светлый лик. Ангел поднялся из страниц Библии, словно из чашечки лилии, распростер руки, и стены хижины растаяли, как легкий туман. Взору матроса открылись зеленые поля и холмы, темно-коричневые леса, чудно освещенные осенним солнышком. Гнезда аистов уж опустели, но на диких яблонях еще висели яблоки, хотя листья и опали. Ярко-красные плоды шиповника горели на солнышке, как жар; в маленькой зеленой клетке над окном крестьянской избышки насвистывал свою песенку скворец. Матрос узнал свой дом, свой родной дом! Скворец свистел заученную песенку, а бабушка давала ему свежего мокричника, как, бывало, делывал ее внук. Молоденькая хорошенькая дочка кузнеца брала из колодца воду и поклонилась бабушке, а бабушка поманила ее к себе письмом. Оно пришло сегодня утром из холодных стран, с Дальнего севера, где находился ее внук, – под покровом десницы Господней. Женщины плакали и смеялись, читая письмо, а он, осененный крылами ангела, видел и слышал все из своей снежной хижины в минуту духовного просветления, смеялся и плакал вместе с ними! Были

прочитаны из его письма и слова Священного писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там удержит меня десница Твоя». Дивный псалом прозвучал в воздухе, и ангел накрыл спящего своим крылом, словно мягким покрывалом: видение исчезло, в снежном домике стало темно, но Библия по-прежнему лежала под головою матроса, вера и надежда жили в его сердце. И Бог был с ним, и родину он носил с собою – всюду, даже «на краю моря».

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Две девицы



Видали вы когда-нибудь девицу, то есть то, что известно под именем девица у мостовщиков – инструмент для утрамбовывания мостовой? Девица вся деревянная, шире книзу, охвачена в подоле железными обручами, кверху же суживается, и сквозь талию у нее продета палка – концы ее изображают руки девицы.

На одном дворе, при складе строительных материалов, и стояли

две такие девицы вместе с лопатами, саженьями и тачками. Разговор шел о том, что девиц, по слухам, не будут больше звать девицами, а штемпелями, – это новое название самое-де верное и подходящее для того инструмента, который мы исстари привыкли звать девицей.

У нас, как известно, водятся так называемые эмансипированные женщины; к ним принадлежат содержательницы пансионатов, повивальные бабки, танцовщицы, что стоят по долгу службы на одной ноге, модистка и сиделки, К этому-то ряду эмансипированных примыкали и две девицы. Они числились девицами министерства путей сообщения и ни за что на свете не хотели поступиться своим добрым старым именем, позволив назвать себя штемпелями.

– Девица – имя человеческое! – говорили они. – А штемпель – вещь! И мы не позволим называть себя вещью – это прямая брань!

Мой жених, пожалуй, еще откажется от меня! – сказала младшая, помолвленная с копром – большой машиной, что вбивает сваи и, таким образом, служит хоть и для более грубой, но однородной работы с девицей. – Он готов жениться на мне, как на девице, а пожелает ли он взять за себя штемпель – еще вопрос. Нет, я не согласна менять имя!

– А я скорее дам обрубить себе руки! – сказала старшая.

Тачка же была другого мнения, а тачка ведь не кто-нибудь! Она считала себя целою четвертью кареты, – одно-то колесо у нее ведь было.

– А я позволю себе заметить вам, что название «девица» довольно вульгарно и, уж во всяком случае, далеко не так изысканно, как штемпель. Ведь штемпель – та же печать. Назвавшись штемпелями, вы примкнете к разряду государственных печатей! Разве это не почетно? Помните, что без государственной печати не действителен ни один закон. Нет, на вашем месте я бы отказалась от имени девицы.

– Никогда! Я уже слишком стара для этого! – сказала старшая девица.

– Видно, вы еще незнакомы с так называемую «европейскую необходимость»! – сказал почтенная старая сажень. – Приходится иногда сократить себя, подчиниться требованиям времени и обстоятельствам. Если уж велено девицам зваться штемпелями, так и зовитесь! Нельзя все мерить на свой аршин!

– Нет, уж коль на то пошло, пусть лучше зовут меня барышней, – сказала младшая. – Слово «барышня» все же ближе к слову «девица».

– Ну, а я лучше дам изрубить себя в щепки! – сказала старшая девица.

Тут они отправились на работу – их повезли на тачке; обращались с ними, как видите, довольно-таки деликатно, но звали уже штемпелями!

– Дев...! – сказали они, ударившись о мостовую. – Дев...! – И чуть было не выговорили всего слова: девица, да прикусили языки на половине, – не стоит, дескать, вступать в пререкания. Но между собой они продолжали называть себя девицами и восхвалять доброе старое время, когда каждую вещь называли своим именем: коли ты девица, так и звали тебя девицей! Девицами обе они и остались, – копер, эта машинища, ведь и в самом деле отказался от младшей, не захотел жениться на штемпеле.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Отпрыск райского растения

Высоко-высоко, в светлом, прозрачном воздушном пространстве, летел ангел с цветком из райского сада. Ангел крепко поцеловал цветок, и от него оторвался крошечный лепесток и упал на землю. Упал он среди леса на рыхлую, влажную почву и сейчас же пустил корни. Скоро между лесными растениями появилось новое.

– Что это за чудной росток? – говорили те, и никто – даже чертополох и крапива – не хотел знаться с ним.

– Это какое-то садовое растение! – говорили они и подымали его на смех.

Но оно все росло да росло, раскидывая побеги во все стороны.

– Куда ты лезешь? – говорил высокий чертополох, весь усеянный колючками. – Ишь ты, распыжился! У нас так не водится! Мы тебе не подпорки!

Пришла зима, растение покрылось снегом, но от ветвей исходил такой блеск, что блестел и снег, словно освещенный снизу солнечными лучами. Весною растение зацвело; прелестнее его не было во всем лесу!

И вот явился раз профессор ботаники, – так он и по бумагам значился. Он осмотрел растение, даже попробовал, каково оно на вкус. Нет, положительно оно не было известно в ботанике, и профессор так и не мог отнести его ни к какому классу.

– Это какая-нибудь помесь! – сказал он. – Я не знаю его, оно не значится в таблицах.

– Не значится в таблицах! – подхватили чертополох и крапива.

Большие деревья, росшие кругом, слышали сказанное и тоже видели, что растение было не из их породы, но не проронили ни одного слова: ни дурного, ни хорошего. Да оно и лучше промолчать, если не отличаешься умом.

Через лес проходила бедная невинная девушка.

Сердце ее было чисто, ум возвышен; все ее достояние заключалось в старой Библии, но со страниц ее говорил с девушкой сам господь: «Станут обижать тебя, вспомни историю об Иосифе; ему тоже хотели сделать зло, но бог обратил зло в добро. Если же будут преследовать тебя, глумиться над тобою, вспомни о нем невиннейшем, лучшем из всех, над которым надругались, которого пригвоздили ко кресту и который все-таки молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!»

Девушка остановилась перед чудесным растением; зеленые листья его дышали таким сладким, живительным ароматом, цветы блестели на солнце радужными переливами, а из чашечек их лилась дивная мелодия, словно в каждой был неисчерпаемый родник чарующих созвучий. С благоговением смотрела девушка на дивное растение божье, потом наклонилась, чтобы поближе рассмотреть цветы, поглубже вдохнуть в себя их аромат, – и душа ее просветлела, на сердце стало так легко! Как ей хотелось сорвать хоть один цветочек, но она не посмела, – он ведь так скоро завял бы у нее. И она взяла себе лишь зеленый листик, принесла его домой и положила в Библию. Там он и лежал, все такой же свежий, благоухающий, неувядаемый.

Да, он лежал в Библии, а сама Библия лежала под головою молодой девушки в гробу, – несколько недель спустя девушка умерла. На кротком лице ее застыло выражение торжественной, благоговейной серьезности, только оно и могло отпечататься на брэнной земной оболочке души в то время, как сама душа стояла перед престолом всевышнего.

А чудесное растение по-прежнему благоухало в лесу; скоро оно разрослось и стало словно дерево; перелетные птицы слетались к

нему стаями и низко преклонялись перед ним; в особенности – ласточка и аист.

– Иностранные кривляки! – говорили чертополох и крапива. – У нас это не принято! Такое ломанье нам не к лицу!

И черные лесные улитки плевали на чудесное растение.

Наконец пришел в лес свинопас надергать чертополоху и других растений, которые он жег, чтобы добыть себе золы, и выдернул в том числе со всеми корнями и чудесное растение. Оно тоже попало в его вязанку!

– Пригодится и оно! – сказал свинопас, и дело было сделано.

Между тем король той страны давно уже страдал глубокою меланхолией. Он прилежно работал – толку не было; ему читали самые ученые, мудреные книги, читали и самые легкие, веселые – ничего не помогало. Тогда явился посол от одного из первейших мудрецов на свете; к нему обращались за советом, и он отвечал через посланного, что есть одно верное средство облегчить и даже совсем исцелить больного.

«В собственном государстве короля растет в лесу растение небесного происхождения, выглядит оно так-то и так – ошибиться нельзя». Тут следовало подробное описание растения, по которому его нетрудно было узнать. «Оно зеленеет и зиму и лето; поэтому пусть берут от него каждый вечер по свежему листочку и кладут на лоб короля: тогда мысли его прояснятся, и здоровый сон подкрепит его к следующему дню!»

Яснее изложить дело было нельзя, и вот все доктора, с профессором ботаники во главе, отправились в лес. Но... куда же девалось растение?

– Должно быть, попало ко мне в вязанку, – сказал свинопас, – и давным-давно стало золою. Мне и невдомек было, что оно может понадобиться!

– Невдомек! – сказали все. – О, невежество, невежество, нет

тебе границ!

Свинопас должен был намотать эти слова себе на ус; свинопас, и никто больше, – думали остальные.

Не нашлось даже ни единого листка небесного растения: уцелел ведь только один, да и тот лежал в гробу, и никто и не знал о нем.

Сам король пришел в лес на то место, где росло небесное растение.

– Вот где оно росло! – меланхолично сказал он. – Священное место!

И место огородили вызолоченною решеткою и приставили сюда стражу: часовые ходили и день и ночь.

Профессор ботаники написал целое исследование о небесном растении, и его за это всего озолотили – к большому его удовольствию. Позолота очень шла и к нему и ко всему его семейству, и вот это-то и есть самое радостное во всей истории: от небесного растения не осталось ведь и следа, и король по-прежнему ходил, повесив голову.

– Ну, да он и прежде был таким! – сказала стража.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана

Андерсена . жемчужина

Последняя

То был богатый, счастливый дом! Все в доме – и господа, и слуги, и друзья дома – радовались и веселились: в семье родился наследник – сын. И мать и дитя были здоровы.

Лампа, висевшая в уютной спальне, была задернута с одной стороны занавеской; тяжелые, дорогие шелковые гардины плотно закрывали окна; пол был устлан толстым, мягким, как мох, ковром; все располагало к сладкой дремоте, ко сну, к отдыху. Не мудрено, что сиделка заснула; да и пусть себе – все обстояло благополучно. Гений домашнего очага стоял у изголовья кровати; головку ребенка, прильнувшего к груди матери, окружал словно венчик из ярких звезд; каждая была жемчужиной счастья. Все добрые феи принесли новорожденному свои дары; в венце блестели жемчужины: здоровья, богатства, счастья, любви – словом, всех благ земных, каких только может пожелать себе человек.

– Все дано ему! – сказал гений.

– Нет! – раздался близ него чей-то голос. То говорил ангел-хранитель ребенка. – Одна фея еще не принесла своего дара, но принесет его со временем, хотя, может быть, и не скоро. В венце недостает последней жемчужины!

– Недостает! Этого не должно быть! Если же это так, нам надо отыскать могущественную фею, пойти к ней сейчас же!

– Она явится в свое время и принесет свою жемчужину, которая должна замкнуть венец!

– Где же обитает эта фея? Где ее жилище? Скажи мне, и я пойду за жемчужиной!

– Хорошо! – сказал ангел-хранитель ребенка. – Я сам провожу

тебя к ней, все равно, где бы ни пришлось нам искать ее! У нее нет ведь постоянного жилища! Она появляется и в королевском дворце и в жалкой крестьянской хижине! Она не обойдет ни одного человека, каждому принесет свой дар – будь то целый мир или пустяк! И к этому ребенку она придет в свое время! Но, потвоему, выжидание не всегда впрок, – хорошо, поспешим же отправиться за жемчужиной, последнею жемчужиной, которой недостает в этом великолепном венце!

И они рука об руку полетели туда, где пребывала в тот час фея.

Они очутились в большом доме, но в коридорах было темно, в комнатах пусто и необыкновенно тихо; длинный ряд окон стоял отворенным, чтобы впустить в комнаты свежий воздух; длинные белые занавеси были спущены и колыхались от ветра.

Посреди комнаты стоял открытый гроб; в нем покоилась женщина в расцвете лет. Покойница вся была усыпана розами, виднелись лишь тонкие, сложенные на груди руки да лицо, хранившее светлое и в то же время серьезное, торжественное выражение.

У гроба стояли муж покойной и дети. Самого младшего отец держал на руках; они подошли проститься с умершею. Муж поцеловал ее пожелтевшую, сухую, как увядший лист, руку, которая еще недавно была такою сильною, крепкою, с такою любовью вела хозяйство и дом. Горькие слезы падали на пол, но никто не проронил ни слова. В этом молчании был целый мир скорби. Молча, подавляя рыдания, вышли все из комнаты.

В комнате горела свеча; пламя ее колебалось от ветра и вспыхивало длинными красными языками. Вошли чужие люди, закрыли гроб и стали забивать крышку гвоздями. Гулко раздавались удары молота в каждом уголке дома, ударяя по сердцам, обливавшимся кровью.

– Куда ты привел меня? – спросил гений домашнего очага. – Тут нет фей, чей дар, жемчужина, принадлежал бы к лучшим благам жизни!

– Она тут! – сказал ангел-хранитель и указал на фигуру, сидевшую в углу. На том самом месте, где сживала, бывало, при жизни мать семейства, окруженная цветами и картинами, откуда она, как благодетельная фея домашнего очага, ласково улыбалась мужу, детям и друзьям, откуда она, ясное солнышко, душа всего дома, разливала вокруг свет и радость – там сидела теперь чужая женщина в длинном одеянии. То была скорбь; теперь она была госпожой в доме, она заняла место умершей. По щеке ее скатилась жгучая слеза и превратилась в жемчужину, отливавшую всеми цветами радуги. Ангел-хранитель подхватил ее, и она засияла яркою семицветною звездой.

– Вот она, жемчужина скорби, последняя жемчужина, без которой не полон венец земных благ! Она еще ярче оттеняет блеск и красоту других. Видишь в ней сияние радуги – моста, соединяющего землю с небом? Теряя близкое, дорогое лицо здесь, на земле, мы приобретаем друга на небе, по которому будем тосковать. И в тихие звездные ночи мы невольно обращаем взор к небу, к звездам, где ждет нас иная, совершенная жизнь. Взгляни на жемчужину скорби: в ней скрыты крылья Психеи, которые уносят нас из этого мира!

✖ ✖ ✖ ✖ ✖

✖ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Пропащая



Городской судья стоял у открытого окна; на нем была крахмальная рубашка, в манишке красовалась дорогая булавка, выбрит он был безукоризненно – сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги.

– Эй ты, малый! – закричал он.

«Малый» был не кто иной, как прачкин сынишка; он проходил мимо, но тут остановился и почтительно снял фуражку с переломанным козырьком, – тем удобнее было совать ее в карман. Одет мальчуган был бедно, но чисто; на все дыры были аккуратно наложены заплатки; обут он был в тяжелые деревянные башмаки и стоял перед городским судьей навтыжку, словно перед самим королем.

– Ты славный мальчик! – сказал городской судья. – Почтительный мальчик! Мать, верно, полощет белье на речке, а ты тащишь ей кое-что? Вишь, торчит из кармана! Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя там?

– Полкосушки, – ответил мальчик тихо, испуганно.

– Да утром ты отнес ей столько же? – продолжал городской судья.

– Нет, это вчера! – сказал мальчуган.

– Две полкосушки – вот уже и целая! Пропащая она женщина!

Просто беда с этим народом! Скажи своей матери, что стыдно ей! Да гляди, сам не сделайся пьяницей! Впрочем, что и говорить; конечно, сделаешься! Бедный ребенок... Ну, ступай!

Мальчик пошел; фуражка так и осталась у него в руках, и ветер развеивал его длинные белокурые волосы. Вот он прошел улицу, свернул в переулок и дошел до реки. Мать его стояла в воде и колотила вальком разложенное на деревянной скамье мокрое, тяжелое белье. Течение было сильное; мельничные шлюзы были открыты – простыню, которую женщина полоскала, так и рвало у нее из рук, скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась.

– Я чуть-чуть не уплыла сама! – сказала она. – Хорошо, что ты пришел, надо мне подкрепиться маленько. Вода холодная-прехолодная, а я вот уже шесть часов стою тут! Принес ты что-нибудь?

Мальчик вытащил бутылочку; мать приложила ее ко рту и хлебнула.

– Как славно! Сразу согреешься, точно поешь чего-нибудь горяченького, а стоит-то куда дешевле! Хлебни и ты, мальчуган! Ишь ты, какой бледный! Холодно тебе в легоньком платьишке! Осень ведь на дворе! У! Вода прехолодная! Только бы мне не захворать! Дай-ка мне еще глотнуть, да глотни и сам, только чуть-чуть! Тебе не надо привыкать к этому, бедняжка мой!

И она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на берег. Вода бежала с рогожки, которою она обвязалась вокруг пояса, текла с подола юбки.

– Я работаю изо всех сил, кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей!.. Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик!

В это время к ним подошла бедно одетая старуха; она прихрамывала на одну ногу, и один глаз у нее был прикрыт большим локоном, отчего изъян был еще заметнее. Старуха была

дружна с прачкой, а звали ее соседи «хромою Марен с локоном».

– Бедняжка, вот как приходится тебе работать! Стоишь по колени в холодной воде! Как тут не глотнуть разок-другой, чтобы согреться! А люди-то считают каждый твой глоток!

И она пересказала прачке слова городского судьи. Марен слышала, что он говорил мальчику, и очень рассердилась на него, – можно ли говорить так с ребенком о его же собственной матери да считать всякий ее глоток, когда сам задаешь званый обед, где вино будет литься рекою, и вино-то дорогое, крепкое! Небось сами пьют – не считают, и все-таки они не пьяницы, люди достойные, а ты вот «пропащая»!

– Так он и сказал тебе, сынок? – спросила прачка, и, губы ее задрожали. – Мать твоя – пропащая! Что ж, может быть, он и прав! Но не следовало бы говорить этого ребенку!.. Да, не впервой терпеть мне от этого семейства!

– Правда, вы ведь служили еще у родителей судьи! Давненько это было, много пудов соли съедено с тех пор, не мудрено, что и пить хочется! – И Марен рассмеялась. – Сегодня у городского судьи назначен званый обед; хотел было отменить, да уж поздно было, все было готово. Я от дворника все это узнала. С часу тому назад пришло письмо, что младший брат судьи умер в Копенгагене.

– Умер! – проговорила прачка и побледнела как смерть.

– Что с вами? – спросила Марен. – Неужто вы так близко принимаете это к сердцу? Ах да, ведь вы знавали его!

– Так он умер!.. Лучше, добрее его не было человека на свете! Не много у господ бога таких, как он! – И слезы потекли по ее щекам. – О господи, голова так и кружится! Это оттого, что я выпила всю бутылку! Не следовало бы! Мне так скверно! И она схватилась за забор.

– Ох, да вы совсем больны, матушка! – сказала Марен. – Ну, ну,

придите же в себя!.. Нет, вам и взаправду плохо! Сведу-ка я вас лучше домой!

– А белье-то!

– Ну, я возьмусь за него!.. Держитесь за меня! Мальчуган пусть покараулит тут, пока я вернусь и дополощу. Сушая безделица осталась!

Ноги у прачки подкашивались.

– Я слишком долго стояла в холодной воде! И с самого утра у меня не было во рту ни крошки! Лихорадка так и бьет! Господи Иисусе! Хоть бы до дому-то добраться! Бедный мой мальчик!

И она заплакала.

Мальчик тоже заплакал и остался у реки стеречь белье. Женщины продвигались вперед шаг за шагом, прачка едва тащилась, прошли переулок, улицу, но перед домом судьи больная вдруг свалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марен побежала во двор за помощью. Судья со своими гостями смотрел из окна.

– Это прачка! – сказал он. – Хлебнула лишнее! Пропащая женщина! Жаль только славного мальчугана, сынишку ее! А мать-то пропащая!

Прачку привели в себя, отнесли домой в ее жалкую каморку и уложили в постель. Марен приготовила для больной питье – теплое пиво с маслом и с сахаром, лучшее средство, какое она только знала, а потом отправилась дополаскивать белье. Выполоскала она его очень плохо, зато от доброго сердца; собственно говоря, она только повытаскала мокрое белье на берег и уложила в корзину.

Вечером Марен опять сидела в жалкой каморке возле прачки. Кухарка городского судьи дала ей для больной славный кусок ветчины и немножко жареного картофеля; все это пошло самой Марен и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом.

– Он такой питательный! – говорила она.

Мальчик улегся на ту же самую постель, на которой лежала и мать; он лег у нее в ногах, поперек кровати, и покрылся старым половиком, собранным из голубых и красных лоскутков.

Прачке стало немножко полегче; горячее пиво подкрепило ее, а запах теплого кушанья подбодрил.

– Спасибо тебе, добрая душа! – сказала она Марен. – Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все! Да он уж и спит, кажется! Взгляни, какой он славный, хорошенький с закрытыми глазками! Он и не знает, каково приходится его бедной матери, да, бог даст, и никогда не узнает!.. Я служила у советника и советницы, родителей судьи, и вот, случись, что самый младший из сыновей приехал на побывку домой; студент он был. Я в ту пору была еще молоденькою, шустрою, но честною девушкой, – вот как перед богом говорю! И студент-то был такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете! Он был хозяйский сын, а я простая служанка, но мы все-таки полюбили друг друга... честно и благородно! Поцеловаться разок-другой ведь не грех, если любишь друг друга всем сердцем. Он во всем признался матери; он так уважал и почитал ее, чуть не молился на нее! И она была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал, но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Как уехал он, меня и призывает сама госпожа и начинает говорить со мною так серьезно и вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне, какое между мною и им расстояние по уму и образованию. «Теперь он глядит лишь на твое личико, но красота ведь пройдет, а ты не так воспитана, не так образована, как он. Неровня вы – вот в чем вся беда! Я уважаю бедных, и в царствии небесном они, может быть, займут первые места, но тут-то, на земле, нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед – и экипаж сломается, и вы оба вывалитесь! Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик-перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный, – подумай же хорошенько!» Каждое ее слово резало меня, как ножом, но она говорила

правду, вот это-то и мучило меня! Я поцеловала у нее руку и заплакала... Еще горше плакала я в своей каморке, лежа на постели... Один бог знает, что за ночьку я провела, как я страдала и боролась с собою! Утром – это было в воскресенье – я отправилась к причастию в надежде, что бог просветит мой ум. И вот он точно послал мне свое знамение: иду из церкви, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала и колебаться – и впрямь, ведь мы были парой, хоть он и был человеком зажиточным. Вот я и подошла к нему, взяла его за руку и сказала:

«Ты все еще любишь меня по-прежнему?» «Люблю и буду любить вечно!» – отвечал он. «А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит, хотя, может быть, и полюбит со временем?»

«Полюбит непременно!» – сказал он, и мы подали друг другу руки. Я вернулась домой к госпоже. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди, – я не смела надевать его на палец днем и надевала только по вечерам, когда ложилась спать. Я поцеловала кольцо так крепко, что кровь брызнула у меня из губ, потом отдала его госпоже и сказала, что на следующей неделе в церкви будет оглашение, – я выхожу за Эрика. Госпожа обняла меня и поцеловала... Она вот не говорила, что я «пропащая». Но, может статься, я в те времена, и правда, была лучше, хоть и не испытала еще столько горя! Сыграли свадьбу, и первый год дела у нас шли отлично; мы держали подмастерья и мальчика, да ты, Марен, служила у нас...

– И какую славную хозяйшкою были вы! – сказала Марен. – Оба вы с мужем были такие добрые! Век не забуду!..

– Да, ты жила у нас в хорошие годы! Детей у нас тогда еще не было... Студента я больше не видала... Ах нет, видала раз, но он-то меня не видел! Он приезжал на похороны матери. Я видала его у ее могилы. Какой он был бледный, печальный! Понятно – горевал по матери. Когда же умер его отец, был в чужих краях и не приезжал, да и после не бывал ни разу. Он так и не женился!

Кажется, он сделался адвокатом. Обо мне он и не вспоминал, и если бы даже увидел меня, не узнал бы – такую я стала безобразною. Да так оно и лучше.

Потом она стала рассказывать про тяжелые дни, когда одна беда валилась на них за другою. У них было пятьсот талеров, а в их улице продавался дом за двести; выгодно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Каменщики и плотники сделали смету, и вышло, что постройка будет стоить тысячу двадцать риксдалеров. Эрик имел кредит, и ему ссудили эту сумму из Копенгагена, но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним и деньги.

– Тогда-то вот и родился мой милый сынок! А отец впал в тяжелую, долгую болезнь; девять месяцев пришлось мне одевать и раздевать его, как малого ребенка. Все пошло у нас прахом, задолжали мы кругом, все прожили; наконец умер и муж. Я из сил выбивалась, чтобы прокормиться с ребенком, мыла лестницы, стирала белье, и грубое и тонкое, но нужда одолевала нас все больше и больше... Так, видно, богу угодно!.. Но когда-нибудь да он сжалится надо мною, освободит меня и призрит мальчугана!

И она уснула.

Утром она чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она ступила в холодную воду, с ней сделался озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой, сделала шаг вперед и упала. Голова попала на сухое место, на землю, а ноги остались в воде; деревянные башмаки ее с соломенною подстилкой поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

А от судьи пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему; ему надо было что-то сообщить ей. Поздно! Послали было за цирюльником, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла.

– Опилась! – сказал судья.

А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Оказалось, что он отказал вдове перчаточника, служившей когда-то его родителям, шестьсот риксдалеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку – как найдут лучшим – ей и ее сыну.

– Значит, у нее были кое-какие дела с братцем! – сказал судья.
– Хорошо, что ее нет больше в живых! Теперь мальчик получит все, и я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник.

Судья призвал к себе мальчика и обещал заботиться о нем, а мать, дескать, отлично сделала, что умерла, – прощаая была!

Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марен посадила на могиле розовый куст; мальчик стоял тут же.

– Мамочка! – сказал он и заплакал. – Правда ли, что она была прощаая?

– Неправда! – сказала старуха и взглянула на небо. – Я успела узнать ее, особенно за последнюю ночь! Хорошая она была женщина! И господь бог скажет то же самое, когда примет ее в царство небесное! А люди пусть себе называют ее прощаею!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

**Сказки Ханса Кристиана
Андерсена. Пятеро из одного**

стручка



В стручке сидело пять горошин; сами они были зелёные, стручок тоже зелёный, ну, они и думали, что и весь мир зелёный; так и должно было быть! Стручок рос, росли и горошины; они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее; горошинам было хорошо и уютно, светло днём и темно ночью, как и следует. Они всё росли да росли и всё больше думали, сидя в стручке, что пора им что-то предпринять.

– Век, что ли, сидеть нам тут? – говорили они. – Как бы нам не засохнуть от такого сидения!.. Сдаётся нам, есть что-то и вне нашего стручка! Уж такое у нас предчувствие!

Прошло несколько недель; горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел.

– Весь мир желтеет! – сказали они, и кто бы им помешал говорить так?

Вдруг они почувствовали сильный толчок; стручок сорвала человеческая рука и сунула в карман, к другим стручкам.

– Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю! – сказали горошины и стали ждать.

– А хотелось бы мне знать, кто из нас сойдет дальше всех! –

сказала самая маленькая. – Впрочем, скоро увидим!

– Будь что будет – сказала самая большая.

– Крак! – стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузиновой трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

– Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! – закричала она, и след её простыл.

– А я полечу прямо на солнце; вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! – сказала другая. Простыл и её след.

– А мы куда придем, там и заснём! – сказали две следующие. – Но мы все же до чего-нибудь докатимся! – Они и правда покатались по полу, прежде чем попасть в бузиновую трубочку, но всё-таки попали в нее. – Мы дальше всех пойдем!

– Будь что будет! – сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель как раз под окошком чердачной каморки. В щели был мох и рыхлая земля, мох укрыл горошину; так она и осталась там, скрытая, но не забытая господом богом.

– Будь что будет! – говорила она.

А в каморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу: чистила печи, пилила дрова, словом, бралась за всё, что подвернется; сил у неё было довольно, охоты работать тоже не занимать стать, но из нужды она всё-таки не выбивалась! Дома оставалась у неё единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая, тщедушная; целый год уж лежала в постели: не жила и не умирала.

– Она уйдет к сестренке! – говорила мать. – У меня ведь их две было. Тяжело было мне кормить двоих; ну, вот господь бог и поделил со мною заботу, взял одну к себе! Другую-то мне

хотелось бы сохранить, да он, видно, не хочет разлучать сестёр! Заберёт и эту!

Но больная девочка всё не умирала; терпеливо, смиренно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе.

Дело было весной, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол. Больная девочка долго не отводила глаз от окна.

– Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра! Мать подошла к окну и приотворила его.

– Ишь ты! – сказала она. – Да это горошинка пустила ростки! И как она попала сюда в щель? Ну, вот у тебя теперь будет свой садик!

Придвинув кроватку поближе к окну, чтобы девочка могла полюбоваться зелёным ростком, мать ушла на работу.

– Мама, я думаю, что поправлюсь! – сказала девочка вечером. – Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растёт на солнышке? Я тоже поправлюсь, начну вставать и выйду на солнышко.

– Дай-то бог! – сказала мать, но не верила, что это сбудется. Однако она подперла зелёный росток, подбодривший девочку, небольшою палочкой, чтобы не сломался от ветра; потом взяла тоненькую верёвочку и один конец её прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту верёвочку побеги горошины смогут цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло: побеги заметно росли и ползли вверх по верёвочке.

– Смотри-ка, да она скоро зацветёт! – сказала женщина однажды утром и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная дочка её поправится.

Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живее, по утрам сама приподнималась на постели и долго

сидела, любясь своим садиком, где росла одна-единственная горошина. А как блестели при этом её глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как счастлива она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался распутившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для неё настоящим праздником.

– Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитя, да и меня тоже! – сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному.

Ну, а другие-то горошины? Та, что летела, куда хотела, – лови, дескать, кто может, – попала в водосточный жёлоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона во чреве кита. Две ленивицы ушли не дальше – их тоже проглотили голуби, значит, и они принесли немалую пользу. А четвёртая, что собиралась залететь на солнце, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла.

– Как я славно раздобрела! – говорила горошина. – Право, я скоро лопну, а уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти!

Канавка была с нею вполне согласна.

А у окна, выходящего на крышу, стояла девочка с сияющими глазами, румяная и здоровая; она сложила руки и благодарила бога за цветочек гороха.

– А я всё-таки стою за мою горошину! – сказала канавка.

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Под ивой



Окрестности Къёге довольно голы; положим, город лежит на самом берегу моря, а это уж само по себе красиво, но все же окрестности могли бы быть покрасивее. А то куда ни обернешься – плоское, ровное пространство, до леса нескоро и доберешься. Освоившись хорошенько с местностью, можно, впрочем, и тут напасть на такие красивые местечки, что потом будешь скучать о них даже в самом восхитительном уголке земного шара. Вот, например, на самой окраине города сбегали вниз к быстрой речке два простеньких, бедненьких садика, и летом здесь было прелесть как хорошо! Особенно для двух ребяташек: Кнуда и Иоганны, которые день-деньской играли тут; они были соседями и пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника, разделявшего их садики. В одном из садиков росла бузина, в другом – старая ива. Под ивою-то дети особенно и любили играть – им позволяли, хотя дерево и стояло почти у самой речки, так что они легко могли упасть в воду. Ну да Господь Бог сам охраняет «малых сих», а не то было бы плохо! Впрочем, дети были очень осторожны, а мальчик, так тот просто боялся воды; другие ребяташки весело плещутся себе, бывало, в заливе, бегают по воде, шалят, а его и не заманить туда. За то Кнуду и приходилось сносить немало насмешек; но вот Иоганне раз приснилось, что она плыла по заливу в лодке, и Кнуд

преспокойно пошел к ней навстречу прямо по воде, а вода-то сначала была ему по шею, потом же покрыла его с головой! Полно с тех пор Кнуду терпеть насмешки! Назовут его трусом, а он сейчас и указывает на сон Иоганны: вон я какой храбрый! Очень он гордился своею храбростью, но от воды все-таки держался подальше.

Бедняки – родители ребятишек были соседями, виделись друг с другом ежедневно, а Кнуд и Иоганна целыми днями играли вместе в садиках и на дороге, обсаженной по обеим сторонам вдоль канав ивами. Красотой эти ивы не отличались, верхушки их были обломаны, да они и стояли-то тут не для красоты, а для пользы. Старая ива в саду была куда красивее, и под нею ребятишки провели немало веселых часов.

В Кьёге есть большая площадь, и во время ярмарки на ней выстраивались целые улицы из палаток, в которых торговали лентами, сапогами и разную разность. Во время ярмарки всегда бывала давка и суматоха и почти всегда шел дождик; во влажном воздухе так и пахло крестьянскими кафтанами и – что куда приятнее – медовыми коврижками. Целая лавка битком бывала набита коврижками! Славно! А что еще лучше – хозяин лавочки останавливался у родителей Кнуда, и мальчику, конечно, перепало всякий раз по коврижке, которую он сейчас же делил с Иоганной. Важнее же всего было то, что продавец коврижек умел рассказывать чудесные истории почти обо всякой вещи, даже о своих коврижках. Однажды вечером он рассказал детям историю, которая произвела на них такое сильное впечатление, что они не могли забыть ее никогда. Не мешает, пожалуй, и нам послушать ее, тем более что она очень коротка.

– На прилавке лежало две коврижки, – рассказывал торговец. – Одна изображала кавалера в шляпе, другая – девицу, без шляпы, но с полоской сусального золота на голове. Лицо у них было только на одной стороне, которою они лежали кверху. С этой-то лицевой стороны на них и надо было смотреть, а отнюдь не с оборотной, и так следует смотреть на всех людей вообще. У кавалера в левом боку торчала горькая миндалинка – это было

его сердце, девица же была чистою медовою коврижкой. Лежали они на прилавке как образцы, лежали долго, ну и полюбили друг друга, но ни тот, ни другая ни гу-гу об этом, а так нельзя, если хочешь, чтобы любовь привела к чему-нибудь!

«Он – мужчина и должен заговорить первый!» – думала девица, хотя и была бы довольна одним сознанием, что любовь ее встречает взаимность. – Кавалер же, как и все мужчины, питал довольно кровожадные замыслы. Он мечтал, что он – живой уличный мальчишка, в кармане у него четыре скиллинга, и вот он покупает девицу и – съедает ее!..

Так они лежали на прилавке дни за днями, недели за неделями и сохли; мысли девицы становились все нежнее и женственнее. «Я довольна и тем, что лежу рядом с ним!» – думала она и вдруг треснула пополам. «Знай она, что я люблю ее, она, пожалуй, еще продержалась бы!» – подумал он.

– Вот вам и вся история, а вот и сами коврижки! – добавил торговец сладостями. – Они замечательны историей своей жизни и своею немой любовью, которая никогда ни к чему не ведет! Ну, возьмите их себе!

И он дал Иоганне уцелевшего кавалера, а Кнуду треснувшую девицу. Рассказ, однако, так подействовал на детей, что они не могли решиться съесть парочку.

На другой день они отправились с коврижками на кладбище; церковные стены были густо обвиты и летом, и зимою чудеснейшим плющом, словно зеленый ковер был повешен! Дети положили коврижки на травку, на самое солнышко, и рассказали толпе ребятишек историю немой любви, которая никуда не годится, то есть любовь, а не история. История-то была прелестна, все согласились с этим и поглядели на медовую парочку, но... куда же девалась девица? Ее съел под шумок один из больших мальчиков – вот какой злой! Дети поплакали о девице, а потом – верно, из жалости к бедному одинокому кавалеру – съели и его, но самой истории не забыли.

Кнуд и Иоганна были неразлучны, играли то под бузиною, то под ивою, и девочка распевала своим серебристым, звонким, как колокольчик, голосом прелестные песенки. У Кнуда голоса не было никакого, зато он твердо помнил слова песен – все-таки хоть что-нибудь! Горожане останавливались и заслушивались Иоганну; особенно же восхищалась ее голосом жена торговца металлическими изделиями.

– Соловьиное горлышко у этой малютки! – говорила она.

Да, славные то были денечки, но не вечно было им длиться!.. Соседям пришлось расстаться: мать Иоганны умерла, отец собирался жениться в Копенгагене на другой и, кстати, рассчитывал пристроиться там посыльным при одном учреждении – должность, как говорили, была очень доходная. Соседи расстались со слезами; особенно плакали дети, но старики обещали писать друг другу по крайней мере раз в год. Кнуда отдали в ученье к сапожнику – полно такому большому мальчику слоняться без дела! А потом его и конфирмовали.

Как хотелось ему в этот торжественный день отправиться в Копенгаген повидать Иоганну! Но, конечно, он не отправился ни в этот день, ни потом, хотя Копенгаген и лежит всего в пяти милях от Кьёге, и в ясную, тихую погоду через залив видны были столичные башни. В день же конфирмации Кнуд ясно видел даже золотой купол собора Богоматери.

Ах, как он скучал по Иоганне! А вспоминала ли о нем она?

Да! К Рождеству родители Кнуда получили письмо от ее отца. В нем говорилось, что в Копенгагене им повезло и что славный голосок Иоганны сулит ей большое счастье. Она уже была принята в театр, где поют, и даже зарабатывала кое-что. Из заработка своего она и посылала дорогим соседям на рождественские удовольствия целый риксдалер! Пусть в Кьёге выпьют за ее здоровье! В письме была и собственноручная приписка Иоганны: «Дружеский привет Кнуду!»

Все плакали от радости. У Кнуда только и дум было, что об

Иоганне, а теперь выходило, что и она о нем думает! И вот чем ближе подходил срок его ученья, тем яснее ему становилось, что он любит Иоганну – значит, она должна стать его женою! При этой мысли все лицо его озарялось улыбкой, и он еще бойчее продергивал дратву, в то время как нога натягивала ремень. Он проколол себе шилом палец и даже не заметил! Уж он-то не будет молчать, как те коврижки, – их история научила его кое-чему.

И вот он – подмастерье. Теперь – котомку на спину и – марш в первый раз в жизни в Копенгаген! У него уже был там на примете один мастер. Вот Иоганна-то удивится и обрадуется ему! Ей уже теперь семнадцать лет, а ему девятнадцать.

Кнуд хотел было тут же, в Кьёге, заpastись золотым колечком для нее, да потом сообразил, что в Копенгагене можно купить получше. Простившись со стариками родителями, он бодро зашагал по дороге; пора стояла осенняя: дождь, непогода, листья с деревьев так и сыпались. Усталый, промокший до костей, добрался наконец Кнуд до столицы и до нового хозяина.

В первое же воскресенье он собрался навестить отца Иоганны, надел новое платье и – в первый раз в жизни – новую шляпу, купленную еще в Кьёге; она очень шла к нему; до сих же пор он ходил всегда в фуражке. Вот Кнуд отыскал дом и поднялся вверх по лестнице. Сколько тут было ступенек! Просто голова кружилась при одной мысли о том, что люди могут жить так, почти что на головах друг у друга.

Зато в самом помещении было уютно, и отец Иоганны встретил Кнуда очень ласково. Для хозяйки дома Кнуд был совершенно посторонним человеком, но и она подала ему руку и угостила чашкой кофе.

– Вот Иоганна-то обрадуется тебе! – сказал отец. – Ишь ты каким молодцом стал! Ну, сейчас увидишь ее! Да, вот так девушка! Она нас так радует и, Бог даст, порадует еще больше! У нее своя комната, она платит нам за нее!

И папаша очень вежливо, словно чужой, постучался в дверь

дочки. Они вошли. Батюшки! Какая прелесть! Такой комнаты не нашлось бы во всем Кьёге! У самой королевы вряд ли могло быть лучше! Тут был и ковер, и длинные занавеси до самого пола, бархатный стул, цветы, картины и большое зеркало, в которое можно было с разбега ткнуться лбом, приняв его за дверь. Все это сразу бросилось в глаза Кнуду, но видел он все-таки одну Иоганну. Она стала совсем взрослою девушкой, но вовсе не такую, какую воображал ее себе он, – куда лучше! Во всем Кьёге не сыскать было такой девушки. Какая она была нарядная, изящная! Но как странно взглянула она на Кнуда – точно на чужого. Зато в следующую же минуту она так и бросилась к нему, словно хотела расцеловать. Поцеловать-то она не поцеловала, но готова была. Да, очень она обрадовалась другу детства! Слезы выступили у нее на глазах, а уж сколько вопросов она задавала ему: и о здоровье родителей его, и о бузине, и об иве, которых она звала, бывало, «матушкой» и «батюшкой», точно деревья были людьми. Впрочем, смотрели же Кнуд с Иоганной когда-то и на коврижки как на людей. Иоганна вспомнила и о них, о их немой любви, о том, как они лежали рядом на прилавке и как девица треснула пополам. Тут Иоганна весело рассмеялась, а Кнуд весь вспыхнул, и сердце его так и застучало. Нет, она совсем не переменялась, не заважничала! И он отлично заметил, что это она заставила родителей попросить его остаться у них на целый вечер. Иоганна разливала чай и сама подала Кнуду чашку, а потом принесла книгу и прочла им из нее кое-что вслух. И Кнуду показалось, что она прочитала как раз историю его собственной любви – так подходило каждое слово к его мыслям. Затем она спела простенькую песенку, которая, однако, превратилась в ее устах в настоящую поэму; казалось, в ней вылилась вся душа Иоганны. Разумеется, она любила Кнуда! Слезы текли по его щекам, он не мог справиться с собою, не мог даже выговорить слова. Самому ему казалось, что он выглядит таким глупым, но она пожала ему руку и сказала:

– У тебя доброе сердце, Кнуд! Оставайся таким всегда!

Что это был за чудный вечер! И мыслимо ли было заснуть после

того? Кнуд так и не спал всю ночь. На прощанье отец Иоганны сказал:

– Ну, не забывай же нас! Не пропусти всю зиму, не заглянув к нам! Значит, ему можно было опять прийти к ним в воскресенье; так он и решил сделать. Но каждый вечер по окончании работ – а работали они еще долго и при огне – Кнуд отправлялся бродить по городу, заходил в улицу, где жила Иоганна, и смотрел на ее окно. В нем почти всегда виднелся свет, а раз он увидел на занавеске тень ее профиля! Вот-то был чудный вечер! Жена его хозяина, правда, не очень была довольна такими вечерними прогулками, как она выражалась, покачивая головой, но сам хозяин только посмеивался:

– Э, пусть себе! Человек он молодой!

«В воскресенье мы опять увидимся, – размышлял Кнуд, – и я скажу ей, что она не выходит у меня из головы и потому должна быть моею женой. Правда, я еще бедный подмастерье, но могу сделаться и мастером, по крайней мере «вольным мастером»; я буду работать, стараться!.. Да, да, я скажу ей все! Из «немой любви» ничего не выйдет! Я уж знаю это из истории о коврижках».

Воскресенье настало, и Кнуд явился к родителям Иоганны, но как неудачно! Все трое собирались куда-то – так и пришлось ему сказать; Иоганна же пожала ему руку и спросила:

– А ты был в театре? Надо побывать! Я пою в среду, и, если ты свободен вечером, я пришлю тебе билет. Отец знает, где живет твой хозяин.

Как это было мило с ее стороны! В среду Кнуд получил запечатанный конверт, без всякого письма, но с билетом. Вечером Кнуд в первый раз в жизни отправился в театр. Кого же он увидел там? Иоганну! И как она была прелестна, обворожительна! Правда, она выходила замуж за какого-то чужого господина, но ведь это же было только так, представление. Кнуд отлично знал это, иначе разве она прислала бы ему билет на

такое зрелище? Народ хлопал в ладоши и кричал, и Кнуд тоже закричал «ура!».

Сам король улыбнулся Иоганне, как будто и он обрадовался ей. Каким маленьким, ничтожным показался теперь самому себе Кнуд! Но он так горячо любил ее, она его тоже, а первое слово ведь за мужчиной – так думали даже коврижки. О, в той истории было много поучительного!

Как только настало воскресенье, Кнуд пошел к Иоганне; он был в таком настроении духа, словно шел причащаться. Иоганна была дома одна и сама отворила ему дверь – случай был самый удобный.

– Как хорошо, что ты пришел! – сказала она ему. – Я чуть было не послала за тобой отца. Но у меня было предчувствие, что ты придешь сегодня вечером. Дело в том, что я уезжаю в пятницу во Францию. Это необходимо, если я хочу стать настоящей певицей.

Комната завертелась перед глазами Кнуда, сердце его готово было выпрыгнуть из груди, и, хотя он и не пролил ни одной слезинки, видно было, как он огорчен. Иоганна заметила все и чуть не расплакалась сама.

– Верная, честная ты душа! – сказала она.

И тут уж язык у Кнуда развязался, и он сказал ей все, сказал, что горячо любит ее и что она должна выйти за него замуж. И вдруг он увидел, что Иоганна побледнела. Она выпустила его руку и сказала ему печальным, серьезным тоном:

– Не делай ни себя, ни меня несчастными, Кнуд! Я всегда буду для тебя верною, любящею сестрою, но... не больше! – И она провела своею мягкой ручкой по его горячему лбу. – Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!

В эту минуту в комнату вошла ее мачеха.

– Кнуд просто сам не свой от того, что я уезжаю! – сказала она. – Ну, будь же мужчиной! – И она потрепала его по плечу,

как будто между ними только и разговору было, что об ее отъезде. – Дитя! – прибавила она. – Ну, будь же паинькой, как прежде под ивою, когда мы оба были маленькими!

Но Кнуду казалось, будто от света отвалился целый край, а собственные мысли его стали оторванными нитями, которые ветер треплет туда и сюда. Он остался сидеть, хоть и не знал, просили ли его оставаться. Хозяева были с ним, впрочем, очень милы и приветливы, Иоганна опять угощала его чаем и пела, хоть и не по-прежнему, но все же очень хорошо, так что сердце Кнуда просто разрывалось на части. И вот они расстались. Кнуд не протянул ей руки, но она сама схватила его руку и сказала:

– Дай же на прощанье своей сестре руку, мой милый товарищ детства! – И она улыбнулась ему сквозь слезы и шепнула: – Мой брат!

Нашла чем утешить его! Так они и расстались.

Иоганна отплыла во Францию, а Кнуд по-прежнему бродил по вечерам по грязным улицам города. Другие подмастерья спрашивали его, чего это он все философствует, и звали его пойти с ними повеселиться, ведь и в нем небось кипела молодая кровь.

И они пошли вместе в увеселительное заведение. Там было много красивых девушек, но ни одной такой, как Иоганна. И тут-то как раз, где он думал забыть ее, она не выходила у него из головы, стояла перед ним как живая. «Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!» – сказала она ему, и душою его овладело серьезное, торжественное настроение, он даже сложил руки, как на молитве, а в зале визжали скрипки, кружились пары... И он весь затрепетал: в такое место ему не следовало бы водить Иоганну – она всегда ведь была с ним, в его сердце! И он ушел, пустился бежать по улицам к тому дому, где она жила. В окнах было темно, кругом тоже темно, пусто, безотрадно... И никому не было дела до Кнуда; люди шли своею дорогою, а он своею.

Настала зима, реки замерзли, природа словно готовилась к смерти.

Но с наступлением весны и открытием навигации Кнуда охватило вдруг тоскливое желание уйти отсюда... бежать куда глаза глядят – только не во Францию.

И вот он вскинул котомку на спину и пошел бродить по Германии, переходя из одного города в другой, не зная ни отдыха, ни покоя. Только в старинном прекрасном городке Нюрнберге тоска его как будто затихла немного, и он мог остановиться.

Нюрнберг – диковинный городок, словно вырезанный из какой-нибудь старинной иллюстрированной хроники. Улицы идут, куда и как хотят сами, дома не любят держаться в ряд, повсюду выступы, какие-то башенки, завитушки, из-под сводов выглядывают статуи, а с высоты диковинных крыш сбегают на улицы водосточные желоба в виде драконов или собак с длинными туловищами.

Кнуд стоял с котомкою за плечами на Нюрнбергской площади и смотрел на старый фонтан, на его библейские и исторические фигуры, орошаемые брызгами воды. К фонтану подошла зачерпнуть воды красивая девушка; она дала Кнуду напиток и подарила розу – в руках у нее был целый букет роз. Кнуд счел это добрым предзнаменованием и решил остаться в городе.

Из церкви доносились до него могучие звуки органа; что-то знакомое, родное слышалось в них – как будто они неслись из Кьёгской церкви. И он зашел в величественный собор. Солнышко светило сквозь расписные стекла окон, играло на стройных, высоких колоннах, и душой Кнуда овладело тихое, благоговейное настроение.

Скоро он нашел себе хорошего хозяина, стал работать и учиться языку.

Рвы, окружавшие город в старину, давно были обращены жителями в маленькие огороды, но высокие каменные крепостные стены с

башнями возвышались еще по-прежнему. Канатный мастер вил свои канаты в старой бревенчатой галерее, тянувшейся вдоль одной из стен. Из всех щелей и дыр галереи росла бузина; она свешивала свои ветви к маленьким низеньким домикам, уютвшимся внизу, а в одном-то из них как раз и жил хозяин Кнуда. Ветви бузины лезли прямо в окошко его каморки, помещавшейся под самую крышей.

Кнуд прожил тут лето и зиму, но, когда пришла весна, здесь стало невыносимо: бузина зацвела, и аромат ее так напоминал Кнуду его родину и сад в Кьёге, что он не выдержал и перебрался от своего хозяина к другому, жившему ближе к центру города: тут уж бузины не было.

Новый хозяин жил возле старого каменного моста, перекинутого через бурливую речку, словно ущемленную между двумя рядами домов; прямо против дома стояла вечно шумящая водяная мельница. У всех домов были балконы, но такие старые и ветхие, что дома, казалось, только и ждали удобной минуты стряхнуть их с себя в воду. Тут, правда, не росло ни единого кустика бузины, на окнах не виднелось даже цветочных горшков с какой-нибудь зеленью, зато перед самыми окнами стояла большая старая ива! Она словно цеплялась за дом, чтобы не свалиться в реку, и свешивалась к воде своими гибкими ветвями – точь-в-точь как ива в саду в Кьёге.

Кнуд убежал от «матушки» и наткнулся на «батюшку!» Дерево это, особенно лунными вечерами, казалось Кнуду таким родным, таким знакомым, что он чувствовал себя «кровным датчанином при лунном свете» (Слова из популярного датского водевиля, соч. г-жи И. Гейберг. – Примеч. перев.).

Но дело-то было вовсе не в лунном свете, а в старой иве.

И тут Кнуду стало невтерпеж, а почему? Спросите иву, спросите цветущую бузину! Кнуд распростился с хозяином и с Нюрнбергом и пошел дальше.

Ни с кем не говорил он об Иоганне, глубоко в сердце схоронил он свое горе; история же о двух коврижках приобрела теперь для

него особенно глубокое значение. Теперь он понял, почему у кавалера сидела в груди горькая миндалина: у него самого вся душа была отравлена горечью; Иоганна же, всегда такая ласковая, приветливая, была чисто медовой коврижкой!.. И ему стало не по себе; должно быть, ремень котомки слишком давил ему грудь – трудно было перевести дух. Он ослабил ремень, но толку не вышло: окружающий его мир давно уже как-то сузился для него, как бы убавился на целую половину, и эту-то половину Кнуд носил в себе – вот оно что! Вот отчего ему было так тяжело.

Только при виде высоких гор он почувствовал, что на сердце у него стало как будто полегче, границы света опять как будто расширились, а с ними и его кругозор; мысли невольно обратились к окружающему, и на глазах выступили слезы. Альпы показались ему сложенными крыльями земли. Что, если бы она развернула, распустила эти огромные крылья, испещренные чудными рисунками: темными лесами, бурливыми водопадами, облаками и снежными массами! «В день страшного суда так и будет! Земля развернет свои широкие крылья, полетит к Богу и лопнет, как мыльный пузырь, в лучах его света! Ах, если бы это было сегодня!» – вздыхал Кнуд.

Тихо брел он по стране, казавшейся ему цветущим фруктовым садом. С деревянных балкончиков кивали ему головками девушки-кружевницы; вершины гор горели от лучей вечернего солнца как жар. Он взглянул на зеленые озера, окруженные темными деревьями, и вспомнился ему берег Кьёгского залива... Но в душе его уже не было прежней смертной тоски, она сменилась тихой грустью.

Там, где Рейн одною бесконечною волною стремится вперед, обрывается со скалы и, разбиваясь о камни, выбрасывает в воздух белоснежные облачные массы, как будто тут была колыбель облаков, где радуга порхает над водою, словно вьющаяся по ветру лента, – Кнуду вспомнилась водяная мельница в Кьёге, где вода тоже кипела и разбивалась в облачную пену под колесами.

Он охотно остался бы в тихом прирейнском городке, но здесь так много было ив и бузины! И он отправился дальше, за высокие величественные горы, проходил по туннелям и по горным тропинкам, лепившимся возле отвесных, как стены, гор, словно ласточкины гнезда. В глубине пропастей шумели водопады, облака ползли под его ногами, а он все шел да шел под теплыми лучами солнца, по чертополоху, альпийским розам и снегам, дальше и дальше, и вот наконец прощай, север! Кнуд спустился в долину и очутился в тени каштанов, дорога лежала мимо виноградников и маисовых полей. Горы встали стеною между ним и всеми воспоминаниями; так оно и следовало.

Вот Кнуд и в большом великолепном городе Милане нашел немецкого мастера и стал у него работать. Хозяева его оказались славными, честными и трудолюбивыми людьми; они от души полюбили тихого, кроткого и набожного юношу, который мало говорил, но много работал. И у него самого на душе стало как будто полегче; казалось, Бог наконец сжалился над ним и снял с его души тяжелое бремя.

Первым удовольствием стало для Кнуда взбираться на самый верх величественного мраморного собора, словно изваянного со всеми своими остроконечными башнями, шпицами, высокими сводами и лепными украшениями из снегов его родины. Из каждого уголка, выступа, из-под каждой арки улыбались ему белые мраморные статуи. Он взбирался на самую вершину: над головою его расстилалось голубое небо, под ногами – город, а кругом вширь и вдаль раскинулась Ломбардская долина, ограниченная к северу высокими горами, вечно покрытыми снегом. Он вспоминал при этом Кьёгскую церковь, ее красные увитые плющом стены, но воспоминание это не будило в нем тоски по родине. Нет, пусть его схоронят тут, за горами!

Целый год прожил он в Милане; прошло уже три года с тех пор, как он покинул родину. И однажды хозяин повел его на представление – не в цирк, смотреть наездников, а в оперу. Что это был за театр, какая зала! Стоило посмотреть! Во всех семи ярусах – шелковые занавеси, и от самого пола до потолка –

просто голова кружится, как поглядишь! – сидят разряженные дамы с букетами в руках, словно на бал собрались. Мужчины тоже в полном параде; многие в серебре и золоте. Светло было в зале, как на ярком солнышке, и вдруг загремела чудесная музыка. Да, тут было куда лучше, чем в Копенгагенском театре, но там зато была Иоганна, а тут... Что это, колдовство? Занавес поднялся и на сцене тоже стояла Иоганна, вся в шелку и золоте, с золотой короной на голове! Она запела, как могут петь разве только ангелы небесные, и выступила вперед... Она улыбалась так, как могла улыбаться одна Иоганна, она смотрела прямо на Кнуда!..

Бедняга схватил своего хозяина за руку и вскричал:

«Иоганна!» Но крик его был заглушен музыкой; хозяин же кивнул в ответ головою и сказал: «Да, ее зовут Иоганной!» И он показал на печатный листок – там стояло ее полное имя.

Да, это был не сон! И весь народ ликовал: ей бросали цветы и венки, и, стоило ей уйти, ее опять звали назад; она уходила и выходила, уходила и опять выходила.

На улице карету ее окружила толпа, выпрягла лошадей и повезла ее. Кнуд был впереди всех, веселее всех, и, когда они добрались наконец до великолепно освещенного дома, где жила Иоганна, Кнуд встал перед самыми дверцами кареты. Дверцы отворились, и она вышла. Свет падал ей прямо в лицо; она улыбалась и ласково благодарила всех; она была растрогана... Кнуд не сводил с нее глаз, она тоже посмотрела на него, но не узнала. Господин со звездой на груди подал ей руку: это был ее жених – толковали в народе.

Кнуд пришел домой, и – котомку на плечи! Он хотел, он должен был вернуться на родину, к бузине, к иве... ах, под иву.

Хозяева просили его остаться, но все уговоры были напрасны. Они говорили ему, что дело идет к зиме, что все горные проходы уже занесены снегом. Нужды нет, он мог идти за медленно двигающейся почтовой каретой, ведь для нее-то уж расчистят

дорогу!

И он побрел с котомкой за спиной, опираясь на свою палку, взбирался на горы, опять спускался; силы его уже начали слабеть, а он все еще не видел перед собою ни города, ни жилья; шел он все на север, над головой его загорались звезды, ноги его подкашивались, голова кружилась... В глубине долины тоже загорались звездочки, словно и под ногами у него расстилалось небо. Кнуду нездоровилось. Звездочки внизу все прибывали и прибывали, становились все светлее, двигались туда и сюда. Это блестели в одном маленьком городке огоньки в окнах домов, и, когда Кнуд сообразил, в чем дело, он собрал последние силы и кое-как доплелся до постоянного двора.

Целые сутки пробыл он тут; все тело его просило отдыха. Сделалась оттепель, в долине стояла страшная слякоть и грязь, но на другое утро явился шарманщик, заиграл датскую песню, и Кнуд сейчас же отправился в путь. Много дней шел он, не останавливаясь, торопясь изо всех сил, как будто дело шло о том, чтобы застать в живых домашних. Ни с кем не говорил он о своей тоске, никто не мог и подозревать о его глубочайшем сердечном горе; да и что за дело людям до такого горя – оно не интересно; нет до него дела даже друзьям; у Кнуда, впрочем, и не было друзей. Чужой всем, пробирался он по чужой земле на родину, на север. В единственном полученном им больше года тому назад из дому письме говорилось: «Ты не настоящий датчанин, как мы все: мы ужасно привязаны к своей родине, а тебя все тянет в чужие страны!» Да, родители могли так писать – они ведь знали его.

Смеркалось; Кнуд шел по большой дороге; в воздухе уже становилось холоднее, а сама почва – ровнее, больше встречалось лугов и полей. У дороги стояла большая ива, и вся окрестность была такую родною, чисто датскою! Кнуд сел под иву; он очень устал, голова его упала на грудь, глаза закрылись, но он ясно чувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями. Дерево было похоже на могучего, сильного старца... на самого «батюшку!» «Батюшка» нагнулся к Кнуду, взял его в

объятия, как усталого сына, и понес домой, в Данию, на открытый морской берег, в садик, где он играл еще ребенком... Да, это был сам «батюшка» из Кьёге, он пошел искать сына по белу свету, нашел его и принес в садик возле речки! Тут же стояла и Иоганна, разодетая, с короной на голове какую Кнуд видел ее в последний раз. И она встретила его радостным: «Добро пожаловать!»

Тут же, возле, стояли две чудные фигуры, и все же они походили теперь на людей куда больше, чем во времена детства Кнуда, – и они тоже изменились. То были две коврижки: кавалер и девица; они стояли к Кнуду лицевой стороной и были на вид хоть куда.

– Спасибо тебе! – сказали они. – Ты развязал нам язык! Ты объяснил нам, что нужно свободно высказывать свои мысли, а иначе не будет никакого толку! Ну вот теперь и вышел толк: мы – жених и невеста!

И они пошли рука об руку по улицам Кьёге и даже с оборотной стороны были ничего себе, вполне приличны! Они направились прямо в церковь; Кнуд с Иоганной за ними, тоже рука об руку. Церковь ничуть не переменялась, чудесный плющ все так же вился по красным стенам. Главные двери были отворены настезь; слышались звуки органа. Коврижки вошли в церковь и вдруг отступили в сторону. «Господа вперед!» – сказали они, и Кнуд с Иоганной очутились впереди. Оба преклонили колени, и Иоганна склонилась головкой к лицу Кнуда. Из глаз ее текли холодные, ледяные слезы – это растаял от горячей любви Кнуда лед ее сердца. Слезы ее упали на его пылающие щеки, и – он проснулся и увидел, что сидит под старую ивой, в чужой стороне, в холодный зимний вечер, один-одинешенек... Ледяной град так и колот ему лицо.

– Я пережил сейчас блаженнейшие минуты в моей жизни! – сказал он. – И то во сне! Боже, дай же мне опять заснуть! – И он закрыл глаза, заснул, сладко задремал.

Утром пошел снег, совсем занес его ноги, а он все спал.

Сельчане шли в церковь и увидели на дороге мертвого подмастерья: он замерз под ивою.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Домовой мелочного торговца (Домовой у лавочника)



Жил-был студент, самый обыкновенный студент. Он ютился на чердаке и не имел ни гроша в кармане. И жил-был лавочник, самый обыкновенный лавочник, он занимал первый этаж, и весь дом принадлежал ему. А в доме прижился домовый. Оно и понятно: ведь каждый сочельник ему давали глубокую миску каши, в которой плавал большой кусок масла. Только у лавочника и получишь такое угощение! Вот домовый и оставался в лавке, а это весьма поучительно.

Однажды вечером студент зашел с черного хода купить себе свечей и сыра. Послать за покупками ему было некого, он и спустился в лавку сам. Он получил то, что хотел, расплатился, лавочник кивнул ему на прощание, и хозяйка кивнула, а она редко когда кивала, больше любила поговорить! Студент тоже попрощался, но замешкался и не уходил: он начал читать лист бумаги, в который ему завернули сыр. Этот лист был вырван из старинной книги с прекрасными стихами, а портить такую книгу просто грех.

– Да у меня этих листов целая куча, – сказал лавочник. – Эту книжонку я получил от одной старухи за пригоршню кофейных зерен. Заплатите мне восемь скиллингов и заберите все остальные.

– Спасибо, – ответил студент, – дайте мне эту книгу вместо сыра! Я обойдусь и хлебом с маслом Нельзя допустить, чтобы такую книгу разорвали по листочкам. Вы прекрасный человек и практичный к тому же, но в поэзии разбираетесь не лучше своей бочки!

Сказано это было невежливо, в особенности по отношению к бочке, но лавочник посмеялся, посмеялся и студент – надо же понимать шутки! Только домовый рассердился. Да как смеет студент так отзываться о лавочнике, который торгует превосходным маслом и к тому же хозяин дома!

Наступила ночь, лавочник и все в доме, кроме студента, улеглись спать. Домовой пробрался к хозяйке и вынул у нее изо рта ее бойкий язычок – ночью во сне он ей все равно ни к чему! А если приставить его к какому-нибудь предмету, тот сразу обретет дар речи и начнет выкладывать свои мысли и чувства, затараторит не хуже лавочницы. Только пользоваться язычком приходится всем по очереди, да оно и лучше, иначе вещи болтали бы без умолку, перебивая друг друга.

Домовой приложил язычок к бочке, где хранились старые газеты, и спросил:

– Неужели это правда, что вы ничего не смыслит в поэзии?

– Да нет, в поэзии я разбираюсь. – ответила бочка. – Поэзия – это то, что помещают в газете внизу, а потом вырезают. Я думаю, во мне-то поэзии побольше, чем в студенте! А что я? Всего лишь жалкая бочка рядом с господином лавочником.

Тогда домовой приставил язычок к кофейной мельнице. Вот поднялась трескотня! А потом к банке с маслом и к ящику с деньгами, и все были того же мнения, что и бочка, а с мнением большинства нельзя не считаться.

– Ну, студент, берегись! – И домовой тихонько, на цыпочках, поднялся по кухонной лестнице на чердак. В каморке у студента горел свет. Домовой заглянул в замочную скважину и увидел, что студент сидит и читает рваную книгу из лавки. Но как светло было на чердаке! Из книги поднимался ослепительный луч и превращался в ствол могучего, высокого дерева. Оно широко раскинуло над студентом свои ветви. Каждый лист дышал свежестью, каждый цветок был прелестным девичьим лицом: блестели горячие темные глаза, улыбались голубые и ясные. Вместо плодов на ветвях висели сияющие звезды, и воздух звенел и дрожал от удивительных напевов.

Что и говорить, такой красоты крошка домовой никогда не видывал, да и вообразить себе не мог. Он привстал на цыпочки и замер, прижавшись к замочной скважине, глядел и не мог наглядеться, пока свет не погас. Студент задул лампу и лег спать. Но маленький домовой не отходил от двери, он все еще слышал тихую, нежную мелодию, будто студенту напевали ласковую колыбельную.

– Вот так чудеса! – сказал малютка домовой. – Такого я не ожидал! Не остаться ли мне у студента? – Он задумался, однако поразмыслил хорошенько и вздохнул. – Но ведь у студента нет каши! – И домовой стал спускаться по лестнице. Да, да, пошел обратно к лавочнику!

Он вернулся вниз как раз вовремя, потому что бочка уже почти

совсем истрепала хозяйкин язычок, тараторя обо всем, что переполняло ее половину. Она собиралась было повернуться другим боком, чтобы выложить содержимое второй половины, как тут явился домовой, взял язычок и отнес его назад в спальню, но отныне вся лавка, от кассы до щепок для растопки, прониклась таким уважением к бочке, так восхищалась ее познаниями, что когда лавочник по вечерам читал вслух статьи из своей газеты, посвященные театру и искусству, все в лавке воображали, будто эти сведения исходят от бочки.

А маленький домовой, тот не в силах был больше спокойно слушать благонамеренные разглагольствования обитателей лавки. Каждый вечер, как только на чердаке зажигался свет, его словно канатом тянуло наверх, он не мог усидеть на месте, поднимался по лестнице и прикивал к замочной скважине. Тут его охватывал такой трепет, какой испытываем мы, стоя в бурю у ревущего моря, когда над волнами будто проносится сам Господь Бог. И домовой не мог сдержать слез. Он и сам не знал, отчего плачет, но слезы эти были такие светлые и сладкие! Он отдал бы все на свете, чтобы посидеть рядом со студентом под величественным деревом, но об этом и мечтать не приходилось, счастье еще, что можно глядеть в замочную скважину. Наступила осень, а он часами простаивал на чердаке, хотя в слуховое окно дул пронзительный ветер. Было холодно, очень холодно, но крошка домовой не замечал сквозняка, пока в камерке под крышей не гас свет и ветер не заглушал чудесное пение. Ух! Тут он сразу начинал дрожать и тихонько пробирался вниз, в свой уютный уголок. Как там было темно и тепло! А скоро и сочельник наступит, и он получит свою кашу с большим куском масла! Да, что ни говори, лавочник – вот кто его хозяин!

Однажды ночью домовой проснулся от яростного стука в ставни, в них барабанили снаружи, ночной сторож свистел: пожар! пожар! Над улицей стояло зарево. Где же горит? У лавочника или у соседей? Где? Вот страх-то! Лавочница так растерялась, что вынула из ушей золотые серьги и спрятала их в карман – там целее будут. Лавочник бросился к ценным бумагам, а служанка –

к шелковой шали, у нее и такая была. Каждый хотел спасти то, что ему всего дороже, и маленький домовой в два прыжка взлетел на чердак в каморку к студенту. А тот преспокойно стоял у открытого окна и глядел на пожар – горело, оказывается, во дворе у соседей. Домовой кинулся к столу, схватил чудесную книгу, спрятал ее в свой красный колпачок и обхватил его обеими руками. Самое главное сокровище дома было в безопасности! Потом он вылез на крышу, забрался на печную трубу и уселся там. Огни пожара ярко освещали его, а он крепко прижимал к груди свой красный колпачок – ведь в нем было спрятано сокровище. Теперь-то он понял, кому принадлежит его сердце! Но вот пожар понемногу затих, и он одумался.

«Да, – сказал он себе, – придется разрываться между ними обоими, не могу же я покинуть лавочника, как же тогда каша?»

Он рассуждал совсем как мы, люди: ведь и мы тоже не можем пройти мимо лавочника – из-за каши.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

**Сказки Ханса Кристиана
Андерсена. Всеми своё место
(Всяк знай своё место!)**



Тому минуло уж больше ста лет.

За лесом у большого озера стояла старая барская усадьба; кругом шли глубокие рвы с водой, поросшие осокой и тростником. Возле мостика, перекинутого через ров перед главными воротами, росла старая ива, склонявшаяся ветвями к тростнику.

С дороги слышались звуки рогов и лошадиный топот, и маленькая пастушка поторопилась отогнать своих гусей с мостика в сторону. Охотники скакали во весь опор, и самой девочке пришлось поскорее прыгнуть с мостика на большой камень возле рва – не то бы ей несдобровать! Она была совсем ещё ребенок, такая тоненькая и худенькая, с милым, добрым выражением лица и честными, ясными глазками. Но барину-то что за дело? На уме у него были одни грубые шутки, и вот, проносясь мимо девочки, он повернул хлыст рукояткой вперед и ткнул им пастушку прямо в грудь. Девочка чуть не упала.

– Всяк знай своё место! Твоё – в грязи! – прокричал барин и захохотал. Как же! Ему ведь удалось сострить! За ним захохотали и остальные; затем всё общество с криком и гиканьем понеслось по мостику; собаки так и заливались. Вот уж подлинно, что «богатая птица шумно бьёт крылами!»

Богат ли был барин, однако, ещё вопрос.

Бедная пастушка, теряя равновесие, ухватилась за ветку ивы и, держась за неё, повисла над тиной. Когда же господа и собаки скрылись за воротами усадьбы, она попробовала было

вскарабкаться на мостик, но ветка вдруг обломилась у самого ствола, и девочка упала в тростник. Хорошо, что её в ту же минуту схватила чья-то сильная рука. По полю проходил коробейник; он видел всё и поспешил девочке на помощь.

– Всяк знай своё место! – пошутил он, передразнивая барина, и вытащил девочку на сушу. Отломанную ветку он тоже попробовал поставить на своё место, но не всегда-то ведь поговорка оправдывается! Пришлось воткнуть ветку прямо в рыхлую землю. – Расти, как сможешь, и пусть из тебя выйдет хорошая дудка для этих господ!

При этом он от души пожелал, чтобы на ней сыграли когда-нибудь для барина и всей его свиты хороший шпицрутенмарш. Затем коробейник направился в усадьбу, но не в парадную залу – куда такой мелкой сошке лезть в залы, – а в людскую. Слуги обступили его и стали рассматривать товары, а наверху, в зале, шёл пир горой. Гости вздумали петь и подняли страшный рев и крик: лучше они петь не умели! Хохот, крики и собачий вой оглашали дом; вино и старое пиво пенилось в стаканах и кружках. Любимые собаки тоже участвовали в трапезе, и то один, то другой из молодых господ целовал их прямо в морду, предварительно обтерев её длинными, обвислыми ушами собаки. Коробейника тоже призвали в залу, но только ради потехи. Вино бросилось им в голову, а рассудок, конечно, и вон сейчас! Они налили коробейнику пива в чулок, – выпьешь, мол, и из чулка, торопись только! То-то хитро придумали! Было над чем зубоскалить! Целые стада, целые деревни вместе с крестьянами ставились на карту и проигрывались.

– Всяк знай своё место! – сказал коробейник, выбравшись из этого Содома и Гоморры, как он называл усадьбу. – Моё место – путь-дорога, а в усадьбе мне совсем не по себе!

Маленькая пастушка ласково кивнула ему на прощанье из-за плетня.

Дни шли за днями, недели за неделями; сломанная ветка,

посаженная коробейником у самого рва, не только не засохла и не пожелтела, но даже пустила свежие побеги; пастушка глядела на неё да радовалась: теперь у неё завелось как будто своё собственное дерево.

Да, ветка-то всё росла и зеленела, а вот в господской усадьбе дела шли всё хуже и хуже: кутежи и карты до добра не доводят.

Не прошло и шести лет, как барин пошел с сумою, а усадьбу купил богатый коробейник, тот самый, над которым господа потешались, наливая ему пива в чулок. Честность и трудолюбие хоть кого поставят на ноги, и вот коробейник сделался хозяином усадьбы, и с того же часа карты были изгнаны из неё навсегда.

– От них добра не жди! – говорил хозяин. – Выдумал их сам чёрт: увидал Библию, ну и давай подражать на свой лад!

Новый хозяин усадьбы женился, и на ком же? На бывшей пастушке! Она всегда отличалась добронравием, благочестием и сердечностью, а как нарядилась в новые платья, так стала ни дать ни взять красавицей барышней! Как же, однако, все это случилось? Ну, об этом больно долго рассказывать, а в наш недосужий век, известно, все торопятся! Случилось так, ну и всё, а дальше-то вот пойдет самое важное.

Славно жилось в старой усадьбе; хозяйка сама вела всё домашнее хозяйство, а хозяин заправлял всеми делами; благосостояние их всё росло; недаром говорится, что деньга родит деньгу. Старый дом подновили, выкрасили, рвы очистили, всюду насадили плодовых деревьев, и усадьба выглядела как игрушечка. Пол в комнатах так и блестел; в большой зале собирались зимними вечерами все служанки и вместе с хозяйкой пряли шерсть и лён; по воскресным же вечерам юстиц-советник читал им из Библии. Да, да, бывший коробейник стал юстиц-советником, – правда, только на старости лет, но и то хорошо! Были у них и дети; дети подрастали, учились, но не у всех были одинаковые способности, – так оно бывает ведь и во всех семьях.

Ветка же стала славным деревцом; оно росло на свободе, его не

подстригали, не подвязывали.

– Это наше родовое дерево! – говорили старики и внушали всем детям, даже тем, которые не отличались особенными способностями, чтить и уважать его.

И вот с тех пор прошло сто лет.

Дело было уже в наше время. Озеро стало болотом, а старой усадьбы и вовсе как не бывало; виднелись только какие-то канавки с грязной водой да с камнями по краям – остатки прежних глубоких рвов. Зато старое родовое дерево красовалось по-прежнему. Вот что значит дать дереву расти на свободе! Правда, оно треснуло от самых корней до вершины, слегка покривилось от бурь, но стояло всё ещё крепко; из всех его трещин и щелей, куда ветер занес разные семена, тянулись к свету травы и цветы. Особенно густо росли они там, где ствол раздваивался. Тут образовался точно висячий садик: из середины дупла росли малиновый куст, мокричник и даже небольшая стройная рябинка. Старая ива отражалась в черной воде канавки, когда ветер отгонял зелёную ряску к другому краю. Мимо дерева вилась тропинка, уходившая в хлебное поле.

У самого же леса, на высоком холме, откуда открывался чудный вид на окрестность, стоял новый роскошный дом. Окна были зеркальные, такие чистые и прозрачные, что стёкол словно и не было вовсе. Широкий подъезд казался настоящей беседкой из роз и плюща. Лужайка перед домом зеленела так ярко, точно каждую былинку охорашивали и утром и вечером. Залы увешаны были дорогими картинами, уставлены обитыми бархатом и шёлком стульями и диванами, которые только что не катались на колесиках сами. У стен стояли столы с мраморными досками, заваленные альбомами в сафьяновых переплётках и с золотыми обрезами... Да, богатые, видно, тут жили люди! Богатые и знатные – это было семейство барона.

И всё в доме было подобрано одно к одному. «Всяк знай своё место», – говорили владельцы, и вот картины, висевшие когда-то

в старой усадьбе на почётном месте, были вынесены в коридор, что вел в людскую. Все они считались старым хламом, в особенности же два старинных портрета. На одном был изображен мужчина в красном кафтане и в парике, на другом – дама с напудренными, высоко взбитыми волосами, с розою в руках. Оба были окружены венками из ветвей ивы. Портреты были во многих местах продырявлены. Маленькие барончики стреляли в них из луков, как в мишень. А на портретах-то были нарисованы сам юстиц-советник и советница, родоначальница баронской семьи.

– Ну, они вовсе не из нашего рода! – сказал один из барончиков. – Он был коробейником, а она пасла гусей! Это совсем не то, что рара и тапан .

Портреты, как сказано, считались хламом, а так как «всяк знай своё место», то прабабушку и прадедушку и выставили в коридор.

Домашним учителем в семье был сын пастора. Раз как-то он отправился на прогулку с маленькими барончиками и их старшей сестрой, которая только недавно конфирмовалась. Они шли по тропинке мимо старой ивы; молодая баронесса составляла букет из полевых цветов. Правило «всяк знай своё место» соблюдалось и тут, и в результате вышел прекрасный букет. В то же время она внимательно прислушивалась к рассказам пасторского сына, а он рассказывал о чудесных силах природы, о великих исторических деятелях, о героях и героинях. Баронесса была здоровою, богато одарённою натурой, с благородною душой и сердцем, способным понять и оценить всякое живое создание.

Возле старой ивы они остановились – младшему барончнку захотелось дудочку; ему не раз вырезали их из ветвей других ив, и пасторский сын отломил ветку.

– Ах, не надо! – сказала молодая баронесса, но дело было уже сделано. – Ведь это же наше знаменитое родовое дерево! Я так люблю его, хоть надо мною и смеются дома! Об этом дереве рассказывают...

И она рассказала всё, что мы уже знаем о старой усадьбе и о

первой встрече пастушки и коробейника, родоначальников знатного баронского рода и самой молодой баронессы.

– Славные, честные старички не гнались за дворянством! – сказала она. – У них была поговорка: «Всяк знай своё место», а им казалось, что они не будут на своём, если купят себе дворянство за деньги. Сын же их, мой дедушка, сделался бароном. Говорят, он был такой ученый и в большой чести у принцев и принцесс; его постоянно приглашали на все придворные празднества. Его у нас дома особенно любят, я же, сама не знаю почему, больше симпатизирую двум старичкам. Могу себе представить их уютную патриархальную жизнь: хозяйка сидит и прядёт вместе со своими служанками, а старик хозяин читает вслух Библию!

– Да, славные, достойные были люди! – сказал пасторский сын.

Завязался разговор о дворянстве и о мещанстве, и, слушая пасторского сына, право, можно было подумать, что сам он не из мещан.

– Большое счастье принадлежать к славному роду – тогда сама кровь твоя как бы прищипывает тебя, подгоняет делать одно хорошее. Большое счастье носить благородное родовое имя – это входной билет в лучшие семьи! Дворянство свидетельствует о благородстве крови; это чеканка на золотой монете, означающая её достоинство. Но теперь ведь в моде, и ей следуют даже многие поэты, считать всё дворянство дурным и глупым, а в людях низших классов открывать тем более высокие качества, чем ниже их место в обществе. Я другого мнения и нахожу такую точку зрения ложною. У людей высших сословий можно подметить много поразительно прекрасных черт характера. Мать моя рассказывала мне про это целую историю, и я сам могу привести их много. Мать была раз в гостях в одном знатном доме – бабушка моя, если не ошибаюсь, выкормила госпожу этого дома. Мать стояла в комнате, разговаривая со старым высокородным господином, и вдруг он увидел, что по двору ковыляет на костылях бедная старуха, которая приходила к нему по

воскресеньям за милостыней. «Бедняга! – сказал он. – Ей так трудно взбираться сюда!» И прежде чем мать успела оглянуться, он был уже за дверями и спустился по лестнице. Семидесятилетний старик генерал сам спустился во двор, чтобы избавить бедную женщину от труда подниматься за милостыней! Это только мелкая черта, но она шла прямо от сердца, из глубины человеческой души, и вот на неё-то должен был указать поэт, в наше-то время и следовало бы воспеть её! Это принесло бы пользу, умиротворило и смягчило бы сердца! Если же какое-нибудь подобие человека считает себя вправе – только потому, что на нём, как на кровной арабской лошади, имеется тавро, становиться на дыбы и ржать на улице, а входя в гостиную после мещанина, говорить: «Здесь пахнет человеком с улицы!» – то приходится признать, что в лице его дворянство пришло к разложению, стало лишь маской, вроде той, что употреблял Феспис (Феспис и вся его труппа вымазывали себе лицо гущей – Примеч. перев.). Над такую фигурой остаётся только посмеяться, хлестнуть её хорошенько бичом сатиры!

Вот какую речь держал пасторский сын; длинновата она была, да зато он успел в это время вырезать дудку.

В баронском доме собралось большое общество, наехали гости из окрестностей и из столицы; было тут и много дам – одетых со вкусом и без вкуса. Большая зала была полна народа. Священники из окрестных приходов сбились в кучу в один угол. Можно было подумать, что люди собрались сюда на похороны, а на самом-то деле – на праздник, только гости ещё не разошлись как следует.

Предполагалось устроить большой концерт, и маленький барончик тоже вышел со своею дудкой, но ни он, ни даже сам рара не сумели извлечь из неё звука, – значит, она никуда не годилась!

Начались музыка и пение того рода, что больше всего нравятся самим исполнителям. Вообще же всё было очень мило.

– А вы, говорят, виртуоз! – сказал один кавалер, папенькин и маменькин сынок. – Вы играете на дудке и даже сами вырезали

её. Вот это истинный гений! Помилуйте! Я вполне следую за веком; так ведь и должно! Не правда ли, вы доставите нам высокое наслаждение своею игрой?

И он протянул пасторскому сыну дудку, вырезанную из ветви старой ивы, и громко провозгласил, что домашний учитель сыграет соло на дудке.

Разумеется, над учителем только хотели посмеяться, и молодой человек отнекивался, как мог, хотя и умел играть. Но все ужасно пристали к нему, и вот он взял дудку и поднес её ко рту.

Вот это была дудка так дудка! Она издала звук, протяжный и резкий, точно свисток паровоза, даже ещё резче; он разнесся по всему двору, саду и лесу, прокатился эхом на много миль кругом, а вслед за ним пролетел бурный вихрь. Вихрь свистел: «Всяк знай своё место!» И вот рара, словно на крыльях ветра, перелетел двор и угодил прямо в пастуший шалаш, пастух же перелетел не в залу, там ему было не место, – но в людскую, в круг разодетых лакеев, щеголявших в шёлковых чулках.

Гордых лакеев чуть не хватил паралич от такой неожиданности. Как? Такое ничтожество – и вдруг смеет садиться за стол рядом с ними!

Молодая баронесса между тем была перенесена вихрем на почётное место, во главе стола, которого она была вполне достойна, а пасторский сын очутился возле неё, и вот они сидели рядом, словно жених с невестой! Старый граф, принадлежавший к одной из древнейших фамилий, не был смещен со своего почетного места, – дудка была справедлива, да ведь иначе и нельзя. Остроумный же кавалер, маменькин и папенькин сынок, полетел вверх ногами в курятник, да и не он один.

За целую милю слышен был этот звук, и вихрь успел наделать бед. Один богатый глава торгового дома, ехавший на четвёрке лошадей, тоже был подхвачен вихрем, вылетел из экипажа и не мог потом попасть даже на запятки, а два богатых крестьянина,

из тех, что разбогатели на наших глазах, угодили прямо в тину. Да, преопасная была дудка! Хорошо, что она дала трещину при первом же звуке, и её спрятали в карман – «всяк знай своё место».

На другой день о происшествии не было и помину, оттого и создалась поговорка: «Спрятать дудку в карман». Всё опять пришло в порядок, только два старых портрета, коробейника и пастушки, висели уже в парадной зале; вихрь перенес их туда, а один из настоящих знатоков искусства сказал, что они написаны рукой великого мастера: вот их и оставили там и даже подновили. А то прежде и не знали, что они чего-нибудь стоят, – где ж было знать это! Таким образом, они все-таки попали на почетное место: «всяк знай своё место!» И так оно в конце концов всегда и бывает, – вечность ведь длинна, куда длиннее этой истории!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Сердечное горе



Рассказ этот состоит, собственно, из двух частей: первую можно бы, пожалуй, и пропустить, да в ней содержатся кое-какие предварительные сведения, а они небесполезны.

Мы гостили у знакомых в имении. Случилось так, что наши хозяева уехали куда-то на день, и как раз в этот самый день из ближайшего городка приехала пожилая вдова с мопсом. Она объявила, что желает продать нашему хозяину несколько акций своего кожевенного завода. Бумаги были у нее с собой, и мы посоветовали ей оставить их в конверте с надписью: «Его превосходительству генерал-провиант-комиссару...» и прочее.

Она внимательно выслушала нас, взяла в руки перо, задумалась и попросила повторить титул еще раз, только помедленнее. Мы исполнили ее просьбу, и она начала писать, но, дойдя до «генерал-пров...», остановилась, глубоко вздохнула и сказала:

– Ах, я ведь только женщина!

Своего мопса она спустила на пол, и он сидел и ворчал. Еще бы! Его взяли прокатиться ради его же удовольствия и здоровья, и вдруг спускают на пол?! Сплюснутый нос и жирная спина – вот его внешние приметы.

– Он не кусается! – сказала его хозяйка. – У него и зубов-то нет. Он все равно, что член семьи, проданный и злющий... Но это

все оттого, что его много дразнят: внуки мои играют в свадьбу и хотят, чтобы он был шафером, а это тяжеленько для бедного создания!

Тут она передала нам свои бумаги и взяла мопса на руки.

Вот первая часть, без которой можно бы и обойтись.

Мопс умер – вот вторая.

Это случилось через неделю. Мы уже переехали в город и остановились на постоялом дворе. Окна наши выходили во двор, который разделялся забором на две части; в одной были развешаны шкуры и кожи, сырые и выделанные; тут же находились и разные приспособления для кожевенного дела. Эта часть принадлежала вдове.

Мопс умер утром и был зарыт здесь же, на дворе. Внуки вдовы, то есть вдовы кожевника, а не мопса – мопс не был женат, – насыпали над могилкой холмик, и вышла прелесть что за могилка; славно, должно быть, было лежать в ней!

Холмик обложили черепками, посыпали песком, а посредине воткнули пивную бутылку горлышком вверх, но это было сделано без всякой задней мысли.

Дети поплясали вокруг могилки, а потом старший мальчик, практичный семилетний юноша, предложил устроить обозрение мопсенькиной могилки для всех соседних детей. За вход можно было брать по пуговке от штанишек: это найдется у каждого мальчика; мальчики же могут заплатить и за девочек.

Предложение было принято единогласно.

И вот все соседские ребята пришли на выставку и заплатили по пуговке; многим мальчикам пришлось в этот день щеголять с одной подтяжкой; зато они видели мопсенькину могилку, а это ведь чего-нибудь да стоило!

Но за забором у самой калитки стояла маленькая оборванная

девочка, прехорошенькая, кудрявая, с такими ясными голубыми глазами, что просто загляденье! Она не говорила ни слова, не уронила ни одной слезы, она только жадно вытягивала шейку и старалась заглянуть дальше, как можно дальше во двор. У нее не было пуговицы, и потому она печально стояла на улице, пока другие дети входили и выходили. Наконец перебивали все и ушли. Тогда девочка присела на землю, закрыла глаза своими загорелыми ручонками и горько, горько заплакала. Только она одна не видала мопсенькиной могилки! Не видала!.. Вот было горе так горе, великое, сердечное горе, каким бывает горе взрослого.

Нам все это было видно сверху, а когда смотришь на свои ли, чужие ли горести сверху, то они кажутся. только забавными.

Вот и весь сказ. Кто не понял, пусть купит у вдовы акции кожевенного завода.

Загрузка...